ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОГО

Великий пролетарский писатель, основоположник литературы социалистического реализма Алексей Максимович Горький своей жизнью, своим замечательным творчеством участвовал в борьбе за построение социалистической культуры. Не только гениальные художественные произведения и блестящие литературно-критические статьи, не только неутомимая организационная работа, но и личные письма А. М. Горького оказывали огромное влияние на развитие советской литературы. В своих письмах он ставил важные теоретические вопросы, глубоко анализировал произведения, давал молодым писателям ценные практические советы.

Ниже мы печатаем неопубликованные (или опубликованные частично) письма А. М. Горького к А. Щербакову, Н. Погодину, Л. Леонову, Вс. Иванову, П. Павленко, В. Гроссману, Н. Накорякову и И. Рыбаковой. Письма эти представляют не только историко-литературный, но и живой, актуальный интерес: они помогают нам правильнее осмыслить и оценить современные литературные явления, помогают в нашей борьбе за боевое идейное искусство. И сегодня Горький — активный борец за литературу социалистического реализма.

Н. Ф. Погодину

26 декабря 1926, Сорренто.

Ник. Погодину

Вы, дорогой мой товарищ, пишете мне о своих рассказах: «Газетность, конечно, большая».

Нет, не только в этом недостаток Ваших очерков, а в том еще, что Вы хотите щегольнуть ловким словечком перед читателем, как, бывало, военные писаря царского времени щеголяли перед горничными.

Возьмем начальные строки «Кумачевого утра»: «Рань **стоит** розовая». Вы хотели сказать красиво, а вышло неверно: время не стоит ни единой секунды. Нельзя сказать: рассвет стоял, хотя можно «погода стояла». Вот сообразите, почему одно — нельзя, другое — можно.

Дальше: «А сани скрипят в утро морозное, раннее». А попозже, в морозное утро — не скрипят? Морозным вечером — не скрипят? Лишняя фраза, и ничего хорошего в ней — нет.

Сани у Вас «пошли». Тоже нехорошо и неверно. И — Вы сами понимаете, что это — нехорошо. Чем дальше читаешь В[аши] очерки, тем проще они по языку, серьезнее по содержанию. Это говорит очень в В[ашу] пользу.

То, о чем Вы пишете, не просто внешние изменения старого русского быта, не мелочи, а глубочайшее перерождение старинного русского человека, отравленного множеством предрассудков, суеверий и враждебным недоверием ко всему, что исходит от города. Перерождение это совершается с быстротою почти чудесной. Весьма возможно, что со временем будет сказано: «За десятилетие с Октября 17 г. до 27 года русская деревня шагнула вперед на полсотни лет, едва ли когда-либо и где-либо в нашем мире было нечто равное этому событию». Этими словами будет сказана сущая правда.

Так вот о чем, вот о каком огромном, по его внутреннему значению, процессе пишете Вы, Погодин. Красивенькими словечками об этом писать — нельзя. Найдите слова точные, крепкие — в них будет настоящая красота и с нею вместе — правда. Надобно учиться, товарищ! Надобно упрямо, всю жизнь учиться видеть, понимать, изображать. Вы, видимо, человек способный к писательству, с хорошим, зорким глазом и с хорошим сердцем. Позаботьтесь, чтоб сердце Ваше жило в ладах с разумом.

Вот Вам мой дружеский совет. Спасибо за присланную книжку.

Будьте здоровы.

А. ПЕШКОВ

26.XII.26.
SORRENTO.

Сколько лет Вам? Что читаете? Читайте побольше! А верьте — поменьше.

А. П.

Известный советский драматург Н. Ф. Погодин начал свой литературный путь как очеркист.

«...начальные строки «Кумачевого утра»...— первая книга Погодина «Кумачевое утро» (очерки современной деревни), изд. «Новая Москва», М. 1926.

Л. М. Леонову

21 января 1928, Сорренто.

Дорогой Леонид Максимович!

Писать предисловие не стану, не могу, о чем уже сообщил т. Ацаркину. Не обижайтесь. Писать о Вас нужно немало и очень хорошо, очень подробно. Вы идете прыжками от «Туатамура» к «Барсукам», от «Барсуков» к «Вору», все это вещи резко различные и разноязычные, и показать читателю, как именно различны они, чем столь необычно отличаются одна от другой,— на эту работу нужно много дней, нужно все Ваше перечитать и — внимательно. Особенно мелкой и нелегкой работы потребовали бы иллюстрации языкового богатства, речевой оригинальности «Вора». Я уверен, что освещение «Вора» с этой стороны было бы очень интересно, да и полезно для молодых писателей, но нет у меня сейчас времени для этой работы, которую я в другое время сделал бы с искреннейшим удовольствием и, разумеется, не как «критик», а как человек, влюбленный в литературное дело.

А сейчас я совершенно «не в себе», до того обременен всяческой спешностью. Я не отказываюсь написать предисловие позднее, ко второму изданию и, повторяю, сделал бы это с удовольствием.

О чем «о самом главном не переговорили мы», как Вы пишете? Мне кажется, что самое главное — почувствовать друг друга, а это, на мой взгляд, было. Слова — особенно излюбленные или привычные — часто являются помехой пониманию людей, особенно если люди не только разных возрастов, но и разных эпох, как Вы и я.

Не согласен я с Вами в том, что «напрасно читаю всякую дребедень». Я думаю, что это настоящее мое дело. Оно похоже несколько на работу огородника,— вот материал для неплохого каламбура! Нет, я очень люблю следить, как растет человек.

Всего доброго. Будьте здоровы и — не сердитесь за отказ мой.

А. ПЕШКОВ

21.I.28. Сорренто.

Сердечное спасибо за книгу. Не хотите ли — пришлю свою?

13 октября 1930, Сорренто.

Дорогой Леонид Максимович —

вчера прочитал «Соть», очень обрадован — превосходная книга! Такой широкий, смелый шаг вперед и — очень далеко вперед от «Вора», книги, кою тоже весьма высоко ценю.

Анафемски хорош язык, такой «кондово» русский, яркий, басовитый, особенно — там, где Вы разыгрываете тему «стихии», напоминая таких музыкантов, как Бетховен и Бах. Не преувеличиваю, ибо — так воспринял, так гудит в «ушах души». («Уши души» — не мое слово, заимствовал из письма одного начинающего, кажется — графомана: «И слушаю сей нежный шопот ушами нежныя души». Он же сокращает слова так: «натяни нитку» — «натянитку»). Да, язык — удивителен, и похвалит Вас за него всякий грамотный человек. Имею право думать и утверждать, что «Соть» — самое удачное вторжение подлинного искусства в подлинную действительность и что, если талантливая молодежь внимательно прочитает эту книгу, она — молодежь — должна будет понять, как надобно пользоваться материалом текущего дня, для того, чтоб создать из этого материала монумент текущему дню. А это может быть для молодежи «поворотным пунктом» к настоящей литературе «высокой формы».

Хорошо, сударь, работаете! Очень понравился мне Увадьев и, конечно, Варвара; более или менее все характеры выписаны четко, удачно. И замечательно искусно вместили Вы всех в метели, туманы и бури стихийности. Есть целый ряд незабываемых сцен: Увадьев, Зоя и финики, маленький бунт святого, Варвара — Сусанна — микроскоп и т. д.,— мастер Вы, Леонид Леонов, на очень высокую гору идете, и — быть Вам на вершине ее. Искреннейше, с великой радостью поздравляю, сын мой и другие «окружающие» тоже просят поздравить Вас с большим Вашим успехом.

Мне все хочется подарить Вам портрет одноименца и однофамильца Вашего Леоне Леони, скульптора, современника Бенвенуто Челлини и соперника его в ювелирном мастерстве. Ищу по всем антикварным лавочкам, заставил искать Колю Бенуа в Риме и Флоренции, пока — все без успеха. Но — найду! Желание снабдить Вас «подарком» этим явилось у меня, когда я получил Ваши деревянные фигурки. Если кактусы отвлекли Вас от резьбы из дерева—да будут прокляты и сгниют! Дрянь— кактусы. Иван Соловей — Ракицкий — развел их в саду кучу, всех сортов, шипы и колючки вонзаются в брюки мои, и нет средств изъять их — шипы,— доколе они не вонзятся в собственную мою старую кожу. Искренно желаю Вам несколько шипов в пальцы левой руки, дабы Вы почувствовали пагубность этой страсти к неприятному растению. Крепко жму руку. Привет супруге.

Всех благ!

А. ПЕШКОВ

13.X.30.

Н. Н. Накорякову

16 августа 1932, Москва

Дорогой т. Накоряков,

прочитал письмо Ларского и — вот несколько соображений в дополнение моей оценки его рукописи.

У меня она оставила такое впечатление, что автор, желая обличить обывателя, незаметно для себя защищает его «право на жизнь»,— право, основы коего антисоциальны и контрреволюционны, ибо это — право гадить. Возможно и допустимо, что «от ума» — по теории — автор действует искренно, а эмоционально он обывателя не только жалеет, но и оправдывает,— оправдывает на том основании, на коем можно оправдать поведение хорька и барсука. Проще говоря, я не вижу, не чувствую в повести ясного и определенного отношения автора к герою. Наш читатель нуждается именно в художественной ясности, гармонически соединенной с теоретической правдой века.

Новое руководство Госиздата должно,— как мне кажется,— очень зорко следить за хитростями работников слова, часто опьяняемых словом. Вот и все.

Мой сердечный привет.

А. ПЕШКОВ

16.VIII.32.

Накоряков Николай Никандрович (р. 1881) во время переписки с М. Горьким — директор Государственного издательства художественной литературы.

В. С. Гроссману

7 октября 1932, Москва.

Рассказ «Три смерти»—работа несерьезная, поверхностная. Мне кажется, что эмоциональное отношение к теме «смерть» отлично выражено в русской литературе — Л. Толстой «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», Чехов, Л. Андреев и др. — и что, если эта тема — не говоря о ее своевременности — все еще достойна внимания, над нею следует работать под иным углом зрения. Смерть — явление биологическое, и писать о ней, не зная биологии, — дело едва ли полезное. Писать же только для того, чтоб «человек задумался о неизбежном» — дело празднословное и церковное, т. е. явно вредное.

«Глюкауф» — очень хороший материал для повести, но он плохо «смонтирован», густо засеян лишними словами, испорчен дидактикой автора, который — часто — там, где следует изображать, включать мысль в образ, — тяжело и сухо рассказывает, поучает читателя. Изобразительная способность автора кажется мне вообще не очень сильной, не развитой. Повесть его местами принимает форму газетного очерка.

Лично я не вижу в повести тенденций контрреволюционных, но критика имеет основания усмотреть тенденции эти в «натурализме» автора. Я не могу назвать натурализм, как прием изображения действительности, приемом «контрреволюционным», но уверенно считаю прием этот неверным, к нашей действительности неприложимым, искажающим ее. Автор говорит: «Я писал правду». Ему следовало бы поставить пред собою два вопроса: один — которую? другой — зачем? Известно, что существует две правды и что в мире нашем количественно преобладает подлая и грязная правда прошлого, а — на смерть ей— родилась и растет другая правда. Вне столкновения, вне борьбы этих правд нельзя понять ничего, это — тоже известно. Автор неплохо видит правду прошлого, но не очень ясно понимает, что же ему делать с нею? Автор правдиво и со вкусом изобразил тупоумие шахтеров, пьянство, драки и вообще все то, что — должно быть — преобладает в его — автора — поле зрения. Конечно, это — правда, очень скверная, даже мучительная правда, с нею необходимо бороться, ее нужно без пощады истреблять. Ставит ли автор перед собою эту цель?

Возможно, что он эту цель ставит, но натурализм как прием не есть прием борьбы с действительностью, подлежащей уничтожению. Натурализм технически отмечает — «фиксирует» — факты; натурализм — ремесло фотографов, а фотограф может воспроизвести, напр., лицо человека только с одной, скажем, печальной улыбкой, для того же, чтоб дать это лицо с улыбкой насмешливой или радостной, он должен сделать еще и еще снимок. Все они будут более или менее «правда», но «правда» только для той минуты, когда человек жил печалью, или гневом, или радостью. Но правду о человеке во всей ее сложности фотограф и натуралист изображать — бессильны.

В повести «Глюкауф» материал владеет автором, а не автор материалом. Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже «позиция», но и материал и автор выиграли бы, если б автор поставил пред собою вопрос: зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?

Человек он — способный, и решить вопросы эти ему следует.

М. ГОРЬКИЙ

7.X.32, Москва

«Три смерти» — рассказ В. С. Гроссмана, оставшийся неопубликованным.

И. А. Рыбаковой

30 января 1935, Москва.

Ирине Рыбаковой.

Товарищ Рыбакова —

группа товарищей с «Красной Розы» прислала мне Вашу книжку, — я очень благодарю их за это! Книжка Ваша понравилась мне,— простой, хороший рассказ о том, как быстро и славно растут высокоценные люди в стране, где властвует и хозяйствует пролетариат, где пред каждым честным рабочим широко открыты пути к знанию, славе, почету. Вот так просто, правдиво и надо пролетариям писать о своей жизни до Октября, — писать так, как будто рассказываешь о себе своим детям и дорогим, сердечным друзьям своим. Ясное сознание великой цели своего класса, крепкое товарищество по партии, дружба по работе и в обыденной жизни, уважение друг к другу—все это вместе— непобедимая, чудодейственная сила! Этой силой мы организуем друзей во всем мире и раздавим врагов.

Книжка напомнила мне один из счастливейших дней моей жизни. Тогда, в 28 г., я приехал в Союз после шестилетней жизни за границей, где наблюдал, как линяют павлиньи перья буржуазной культуры, как загнивает мелкая и крупная буржуазия, растрепанная войной. Видел ученых профессоров, которые служили кондукторами трамваев; интеллигентов, которые, стоя на улицах, молча протягивали руки за милостыней, видел, как в Германии голодали рабочие, как много малолетних дочерей пролетариата стали проститутками, и видел тысячи «детей военного времени» — золотушных, паралитических, рахитиков, полуслепых, нервнобольных. Когда своими глазами видишь все это, — так особенно ясной становится преступность и недопустимость власти буржуазии над рабочим классом.

О том, что делается у нас, в Союзе, я, конечно, знал по газетам, по рассказам товарищей, приезжавших из Союза. Но вот возвратился в Москву, увидел, что сделано за 6 лет пролетариатом-диктатором в бывшей царской России. Это, разумеется, глубоко взволновало меня, зажгло в сердце неугасимую радость и гордость силою, талантливостью людей родины. И когда в Большом театре мы с Вами целовались, я, т. Ирина, целовал не только Вас, а тысячи героинь труда. Потом я съездил на Днепрострой, в сальский колхоз «Гигант», в Тифлис, Эривань, Баку, в Сталинград, Казань, Нижний, заглянул почти всюду, где бывал раньше, и даже в Мурманск, в Соловки, где никогда не был, посмотрел на гигантскую работу пролетариата Союза Советов, мудро руководимого партией его, и вот с той поры счастливо живу той энергией, которая непрерывно, изо дня в день обогащает Союз Социалистических республик и учит пролетариат всех стран, что надобно делать, как надо перестраивать жизнь.

Сердечный привет Вам, т. Рыбакова, и товарищам Вашим — работницам и рабочим «Красной Розы».

Крепко жму Вашу руку.

М. ГОРЬКИЙ

30.I.35.

Рыбакова Ирина Александровна (р. 1887) — работница комбината «Красная Роза», Москва.

«...Вашу книжку...» — И. Рыбакова, «Другие дни», Профиздат, М., 1934.

«И когда в Большом театре...»— 31 мая 1928 года на торжественном пленуме Моссовета в Большом театре в связи с приездом М. Горького в СССР И. А. Рыбакова преподнесла Алексею Максимовичу сотканный работницами фабрики «Красная Роза» портрет В. И. Ленина.

А. С. Щербакову

19 февраля 1935, Москва

Тов. А. Щербакову.

Мне кажется, что определение состояния критики и ее задач дано в формах слишком «общих», хорошо знакомых литераторам и критикам и потому едва ли способных возбудить живой, актуальный интерес, вызвать плодотворную дискуссию по вопросу о социалистическом реализме как методе и технике лит[ературного] творчества, как об эстетике и этике советского искусства.

О соцреализме написано и пишется много, но единого и ясного мнения — не существует, чем и объясняется тот печальный факт, что на Съезде писателей критика не заявила о том, что она существует. А нам необходима твердо установленная «рабочая истина», настолько широкая, чтоб она могла охватить и осветить смыслы всех процессов в нашей стране и все акты сопротивления творчеству пролетариата-диктатора. Само собою разумеется, что в пределах этой «рабочей истины» неизбежны и допустимы разноречия,— отсюда следует необходимость особенно точно, твердо установить пределы неизбежного и допустимого. Думаю, что исходной точкой социалистического реализма надобно взять Энгельсово утверждение: жизнь есть сплошное и непрерывное движение, изменение. В природе механически работают энергии физики и химии, в человечьем обществе — трения, столкновения классовых сил и трудодействия, направленные на создание и расширение материальной — буржуазной, классово своекорыстной — культуры. Факты истории устанавливают, что интеллект играл в буржуазном обществе роль «катализатора», который — более или менее успешно — стремился связать, соединить, т. е. примирить, а в области социальной примирение есть подчинение силы силе. Индивидуалистам нужно указать, что интеллект в условиях капиталистических меньше всего заботится о быстроте своего роста, а ищет только устойчивого равновесия.

Реализм буржуазной литературы — критичен, но лишь настолько, насколько критика необходима для классовой «стратегии»,— для освещения ошибок буржуазии в борьбе за устойчивость власти. Социалистический реализм направлен на борьбу с пережитками «старого мира», с его тлетворным влиянием,— на искоренение этих влияний. Но главная его задача сводится к возбуждению социалистического, революционного миропонимания, мироощущения.

Мне кажется, что мысли этого порядка могли бы вызвать в среде литераторов и критиков возражения, раздражения и создать полезную дискуссию. У нас литераторы меньше всего думают и говорят именно о целях и задачах литературы — следует попытаться возбудить более живой и глубокий интерес к делу, которым они занимаются.

Вообще следовало бы возможно чаще и настойчивее указывать писателям на следующее: предвидения научного социализма все более широко и глубоко реализуются деятельностью партии, организующая сила этих предвидений — в их научности. Социалистический мир строится, буржуазный разрушается именно так, как это предуказано марксистской мыслью.

Отсюда вполне законно следует вывод: образное мышление художника, опираясь на широкое знание действительности и дополненное интуитивным стремлением придавать материалу наиболее совершенную форму — дополнять данное возможным и желаемым,—тоже способно «предвидеть», т. е. иными словами — искусство социалистического реализма имеет право преувеличивать — «домысливать». Интуитивное нельзя понимать как нечто предшествующее знанию, «пророческое», оно довершает опыт в тех случаях, когда опыту, организуемому как гипотеза или как образ,— не хватает каких-то звеньев, частностей. Надо бы ознакомить литераторов с революционными гипотезами науки, гипотезами Сперанского, которые уже подтверждаются экспериментально и служат «рабочими истинами»... Было бы весьма полезно, если бы Вы побеседовали по этому поводу со Львом Николаевичем Федоровым, директором ВИЭМ, да кстати попросили его сделать доклад о задачах ВИЭМ — о необходимости комплексного изучения человека.

Обращаю внимание Ваше на тот факт, что до сей поры еще ничего не сделано по вопросам о памятнике Морозову и о всесоюзном театре.

Доклад Афиногенова мне кажется неясным по его посылкам и лишенным уловимых выводов. Сомневаюсь в том, что мы уже имеем право говорить о «победах», да еще «блестящих», соцреализма раньше, чем он — как метод — выявил себя со всей необходимой ясностью. Защищая актеров от своеволия режиссуры, следовало бы указать, что своеволие это отражается и на авторах пьес, в тех — нередких — случаях, когда авторы дают театру действительно «сырой материал», а не до конца и детально разработанную пьесу. Афиногенов очень верно отметил, что у нас — в театре и в кино — есть режиссеры более грамотные, чем драматурги и «сценаристы». На этом следовало бы остановиться. Доклад Афиногенова, вероятно, вызовет обширную, но мелочную — «кухонную» — полемику.

Шагинян требует от критики «руководства». Это едва ли правильно, требовать следовало бы совместной дружеской работы. Романисты, новеллисты, драматурги тоже ведь руководят критикой, предлагая ей типический, в образах обработанный материал для создания публицистических — т. е. идеологических — выводов, для построения социальной этики и эстетики. Требование написать историю литературы — понятно, но «отдельные монографии о каждом писателе» — это ничего не принесет, кроме вреда писателям.

Весьма ценно указание Шагинян на необходимость критических оценок русской литературы сравнительно с литературами братских республик.

М. ГОРЬКИЙ

Щербаков Александр Сергеевич (1901—1945) — выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства. На Первом всесоюзном съезде писателей (1934) был избран секретарем правления Союза советских писателей, одновременно с избранием М. Горького председателем правления. В 1935 году А. С. Щербаков работал заведующим Отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б).

«...определение состояния критики и ее задач...» — тезисы доклада «Состояние и задачи советской критики». Тезисы были направлены М. Горькому в связи с предстоявшим вторым пленумом правления Союза советских писателей. Заседания пленума состоялись 2—7 марта 1935 года.

«...о памятнике Морозову...» — пионеру Павлику Морозову, погибшему в борьбе с кулаками в 1932 году.

«Доклад Афиногенова мне кажется неясным...» — М. Горькому были направлены на отзыв тезисы доклада драматурга А. Н. Афиногенова по вопросам театральной критики. Доклад на пленуме состоялся 2 марта 1935 года.

«Шагинян требует от критики «руководства». — Речь идет о докладе М. С. Шагинян «Чего ждет писатель от критики». Доклад состоялся 2 марта 1935 года.

П. А. Павленко

Ноябрь, до 9, 1935, Тессели [?]

Милейший т. Павленко —

«Судьбой войны» Вы вполне своевременно и весьма интересно положили начало советской оборонной литературе. Но — на мой взгляд — та часть повести, в которой Вы изображаете войну и в том виде, как Вы ее изобразили, эта часть еще не может быть признана всесторонне и широко разработанной картиной будущей войны на Дальвостоке. Это еще только черновик повести, которую необходимо написать, имея в виду, и на первом плане, не просто «читателя», а читателя, который будет основным деятелем войны и решит ее «судьбу».

Воспитание Красной Армии поставлено у нас так, что каждый боец является нервной клеткой огромного организма, клеткой, которая сознает отдаленную—всемирного значения — цель бытия всего организма...

Простите, что я Вам, коммунисту, напоминаю об этом, но я это должен сделать, ибо основным недостатком повести Вашей является совершенное отсутствие в ней героической единицы—рядового красного бойца. Как он, именно он! — вел себя в грандиозных боях, изображенных Вами. Вы показали героями только командиров, но нет ни одной страницы, на которой Вы пытались бы изобразить героизм массы и рядовой единицы. Это, по меньшей мере, странно.

В процессах «мирного» социалистического строительства мы видим, что масса все более героизируется, непрерывно выдвигая из плодотворной своей среды сотни Изотовых, Стахановых, Демченко и пр. Отсюда следует, что мы вправе ожидать среди бойцов Красной Армии появления таких же инициативных единиц, таких же героев в боевой военной обстановке. Они должны быть, они, конечно, будут, и Вам не следовало забывать об этом естественном явлении.

Надобно показать бойца в борьбе против техники врага, в борьбе против машин и людей, в отношении к пленным солдатам врага, в отношении друг к другу в момент боя и т. д.

Книга Ваша будет особенно жадно читаема краснофлотцами, красноармейцами и— в какой-то степени — должна воспитывать их. О краснофлотцах Вы не сказали ничего...

Батальные картины вышли у Вас очень слабо и даны «с чужих слов»: о морском бое рассказывает капитан норвежец, о сражении под Санчагоу говорят японские генералы. А в конечном счете заголовок «Судьба войны» требует вопросительного знака: какова же она, эта судьба? Повесть вызывает впечатление неконченной...

Вот каково мое суждение о повести, и мне очень жаль, что оно именно таково.

Было бы и славно и мужественно, если б Вы переработали эту крайне важную и нужную повесть.

Письмо печатается с сокращениями.

«Судьба войны» — первоначальное название романа П. А. Павленко «На Востоке».

В. В. Иванову

10 января 1936, Тессели.

Дорогой Всеволод Вячеславович —

по поводу Ваших указаний на отношение «Сов. писателя» к авторам я прошу собрать мне документальный материал. О тирании редакторов, а также о малограмотности оных — напишу статейку, материал — есть, но, буде Вы тоже имеете оный,— давайте мне?

«Не гениальная» литература, разумеется, нужна,— ведь, в сущности-то, она и есть та самая литература, которая, являясь широко и удобочитаемой, служит учителем читателя. Есть — холмы, есть—горы, а на Казбек, на Эльбрус не всякий полезет, и поэтому грамотный Золя читался больше, чем Бальзак, а слащавенький Додэ больше, чем серьезный Золя. Все растет — к сожалению — по линии наименьшего сопротивления,— это особенно наглядно подтверждают корни деревьев, растущих на каменистой почве. Читатель тоже всегда предпочитал эту линию. Предпочитал, но случилось так, что читателю нашему — как будто — начинает нравиться линия сопротивления наибольшего. Ныне он, баловник, уже требует литературы грамотной. Его раздражают словечки: «сгоношился», «присоёкшился», «раздербанил», «мастрячим», «солнцесяд», «сердцедавка» и т. д. Ему кажутся смешными такие, напр., фразы: «Они жили вдвоем с матерью, обнесенные садом», «В густой листве липы журчал воробей, одиноко журчал и долго», «Все женское давно уже высохло в ней», «Бывало мы с женой поднапремся до бесчуру, а мужа сердцедавка берет».

Дорогой мой товарищ, я совершенно четко чувствую весьма и все более заметное различие в степенях грамотности писателя и читателя. Говорю не о формальной грамотности,— в этой области литератор, конечно, «начитаннее» массового читателя. Но — есть другая грамотность — эмоциональная грамотность людей, которые чувствуют себя строителями новых условий жизни, создателями новой структуры государства. Весьма вероятно, что в большинстве своем «стахановцы» крайне плохо знакомы — если знакомы — с учением Ленина, с идеологией коммунизма, и, наверное, в речах Сталина они понимают только практическую, деловую мудрость этих удивительно ясных речей. Идеологически, т. е. силою логики идеи, они еще не организованы, но в отношении своем к действительности, к жизни они уже — другие люди, у них другое мироощущение,— они ощущают мир как бесчисленный ряд разнообразнейших реальностей, которые создаются их энергией. И поэтому они живут в мире, который имеют законнейшее право называть своим. Их мироощущение — эмоция, предшествующая миропониманию интеллектуальному. Логика дела, конечно, приведет их к освоению логики идей, положенных в основу дела.

Наши литераторы — люди эмоционально мало- или безграмотные даже и тогда, когда они читали книги Ленина. Они знакомы с идеями, но у них идеи взвешены в пустоте, эмоциональной основы — не имеют. Вот какова — на мой взгляд — разница между писателем и читателем нашего времени. Этой разницей я и объясняю себе все пороки современной литературы.

На Ваш вопрос: «должна ли существовать обыкновенная, не гениальная литература?» ответить просто: будет существовать, но Вы сами знаете, что не все, что «бытует», должно существовать...

Третью часть «Факира» прочитал, не могу сказать — понравилась, ибо все время раздражало многословие, охлаждали длинноты. Но очень хороши страницы, где Вы пишете отца, и, если б Вы отнеслись к этой фигуре более внимательно,— наша литература получила бы своего Тиля, Тартарена, Кола Брюньона. Именно так, я знаю, что не преувеличиваю. В книге вообще много ценного, забавного, я буду читать ее второй раз и, если хотите, отмечу то, что мне кажется лишним.

У Вас — слякотно? То же самое началось и здесь: туман, дождь, никакого моря — нет, а просто в небольшом пространстве, плотно замкнутом серым киселем, натыканы мокрые деревья, мокрые камни, среди их — мокрый дом, в одной из его комнат сидит угрюмый усатый старик, у него ноет правое плечо от ключицы до локтевого сгиба, он кашляет, курит и пишет Вам длиннущее письмо. Кроме этого — он очень любит и ценит Вас. А также переделал старую пьесу из 4-актной в 3-актную. Если б у него было время, он сократил бы 23 тома своих книг до 8-и. Да.

Может быть, Вы приедете в здешнюю слякоть? Приезжайте, ибо чем разнообразнее бытие, тем более оно интересно, как утверждают «сведущие» люди.

Крепко жму руку.

А. ПЕШКОВ

Письмо печатается с сокращениями.

Н. Н. Накорякову

Начало мая 1936, Москва.

Дорогой Николай Никандрович —

редактором затеваемой Вами «Антологии советской поэзии за 20 лет» я не могу быть вследствие очень слабого моего знакомства с нашей поэзией, но очень прошу Вас обратить внимание на нижеследующие соображения мои о том, каков должен быть смысл и характер «Антологии».

Соображения эти опираются на твердую мою уверенность в интернациональном значении нашей всесоюзной литературы и, в частности, поэзии. Мне кажется, что прозаикам и поэтам нашим это значение их работы не очень ясно, и я думаю, что, если б они понимали, чего требует от них история, они, может быть, стыдились бы сочинять так много неряшливых и плохих стихов. Своих людей у нас не стыдятся, исходя, должно быть, из убеждения, что «человек — не собака, все съест».

Издавая «Антологию», Вы сделали бы очень хорошо, если б подчеркнули «интернационализм» поэзии нашей посредством включения в «Антологию» переводов армянских, грузинских и др[угих] поэтов братских республик. Разумеется, эти переводы будут тоже стихами русских поэтов, но — здесь является на сцену вопрос сюжетности и образности.

Мне кажется, что то и другое выражается поэтами братских республик наших более богато и образно, более «эпично». Мы живем в стране и в атмосфере, для которых характерна именно эпика, а не лирика. Поэтому «Антология» должна включить в себя наибольшее количество «легенд», поэм, таких, примерно, как «Дума об Опанасе» Багрицкого, поэма Асеева о партизане, «Уляпаевщина» и стихи Ник. Тихонова, такого тона, как:

Гвозди бы делать из этих людей,
Не было б в мире лучших гвоздей.

В первых стихах Тихонова не мало героического настроения.

Я очень настаиваю на сюжетности стихов, на их конкретном, историческом содержании. Господа поэты, чрезмерно и в ущерб содержанию увлеченные мастерством формы, весьма привыкли щеголять и кокетничать оным мастерством, забывая, что по этой линии им не удастся переплюнуть французов и англичан. Поэты, вероятно, будут настаивать на показе именно мастерства,— спорьте с ними.

Мастерство, конечно, должно быть показано, но прежде всего покажите искренность и силу вдохновения. И — покажите интернациональные мотивы поэзии вашей! Тут, кажется, кроме «Гренады» — ничего нет. Как же это? Интернационалисты, а жизнь соседнего пролетариата не волнует их, не возбуждает ни гнева, ни радости, ни ненависти? Очень странно!

Однако — время еще не потеряно, и, может быть, найдутся поэты, которые заполнят этот постыдный пробел. А пробел-то ведь действительно постыдный!

«История советской литературы» — дело, конечно, еще более трудное, чем составление «Антологии». Не вижу, кто может выполнить эту работу. Совершенно не могу представить, что ее можно сделать в срок 18 месяцев. Для этой «Истории» у нас так много нового, никем еще не тронутого материала, что только одна подборка и организация его возьмет не меньше полутора годов.

О подготовке работ к 20-летию я говорил писателям на съезде, говорил и после съезда.

Редакторам толстых журналов следовало бы воздержаться от печатания толстых романов, пусть они сразу выходят отдельными изданиями, а место, которое они освободят в журналах,—отдать бы произведениям молодых писателей. В журналах печатаются почти сплошь знаменитые писатели.

Если Вам, Николай Никандрович, нужен хороший, грамотный переводчик с английского, разрешите указать на дочь писателя К. А. Тренева. Ее адрес: Наталья Константиновна Тренева, Москва, Нащокинский пер., д. 3, кв. 50.

Будьте здоровы. Крепко жму руку.

М. ГОРЬКИЙ